ДОМ НА САДОВОЙ



САЙРАН МИНАЗ

Сайран Миназ
Дом на Садовой

https://litres.ru/74793329
SelfPub; 2026

Аннотация

Вера Соколова, сорок два года, уставшая от Москвы, развода и ипотеки, приезжает в родной Березовск — вступить в наследство тёти Шуры, последней из её взрослых.

В тётином доме Вера находит не только коричневую папку с долгами «простить не велю, отдать велю» и тетрадь с рецептами, где счёт ведётся в рублях и чувствах, но и людей, которые знали тётю лучше её самой: колкую соседку Лидию Павловну, сорок два года жившую с Шурой через общую печную стену, и молчаливого Мирона Карпыча, всю жизнь остававшегося рядом.

Это история о том, что счастье не наступает однажды — оно собирается из мелочей: из супа, «нечаянно наполнившего ведро», из разговоров через печку ночью, из пирога, который пекли к приезду четыре раза, зная, что приезда не будет. И о том, что иногда, чтобы понять свою жизнь, нужно сначала отремонтировать чужую трубу.

Тёплый, ироничный роман о доме, который должен жить, — и о женщине, которая впервые узнала, что такое, когда тебя ждут.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 21
Глава 3 46

Сайран Миназ
Дом на Садовой

Глава 1

Поезд пришёл в Березовск в шесть вечера, и я выгружалась последней.

Причина была не в скромности. Причина была в двух чемоданах, драной дорожной сумке и в глубоком убеждении, что женщина с таким багажом в сорок два года производит на публику впечатление жены декабриста, которая наконец дождалась и приехала. Причём подъезжала она, судя по чемоданам, издалека и пешком.

Вы не встречали декабристок? Зря. Ничего на свете так не воспитывает характер, как десятилетний кредит, оформленный на мужа, который оказался не декабристом, а просто декорацией. Декорация, между нами, сейчас стоит в моём бывшем подъезде на двенадцатом этаже и делает вид, что он дизайнер. А я делаю вид, что у меня всё нормально. У нас, у бывших жён, это называется «разошлись». У них, у бывших мужей, это называется «ничего не понимаю, она просто перестала разговаривать». Перестала, милый. За десять лет у меня кончились слова, и я увезла остаток в Березовск. Точка.

Так вот, о платформе. На платформе, между прочим, ни-

кого и не было — один мужик с клеёнчатой сумкой прошёл мимо, не удостоив меня даже взглядом. А я-то готовилась. Причесалась в тамбуре. Надела те самые сапоги, которые в Москве считались «стильными и удобными», а на перроне Березовска немедленно повели себя как предательницы: правая скользнула влево, левая — куда-то вбок, и я секунды три стояла в позе, в которой в Москве танцуют только на корпоративах, и то по-пьяни.

Мальчики в Москве катаются на коньках. Женщины в Березовске катаются на подошвах — и ничего, никто не разбивается. Кости у них, видимо, местные, привычные. Я записала это наблюдение в первый пункт длинного списка «чему мне здесь надо научиться». Список, между нами, обещал быть длинным.

Вокзал встретил меня как старая знакомая, которая нисколько не изменилась, но носит теперь очки. Тот же серый фасад с облупившимися колоннами, та же пыльная сирень вдоль перрона, тот же киоск, в котором в незапамятном девяносто восьмом я покупала жвачку «Turbo» и мечтала стать бухгалтером. Мечта, замечу, сбылась — а про жвачку жалею до сих пор. «Turbo» тех времён были в разы лучше нынешней жизни, честное слово: сладкие, кислые, с наклейками. А наклейки, если вы вдруг забыли, — это была валюта. У меня был целый альбом, и я однажды отказалась менять три наклейки на прогулку с Серёгой Пастуховым, и Серёга до конца года не разговаривал со мной, а я не жалела. Серёга,

насколько я знаю, содержал СТО, разорился и уехал. А наклейки у меня до сих пор есть. В тётином сундуке. Я их пока не нашла, но я уверена, что они там. Тётя ничего не выбрасывала. Тётя вообще была из той породы женщин, у которых ничего не выбрасывается, а откладывается — на всякий случай. Вся её жизнь, как я потом выяснила, была одним длинным «на всякий случай».

Одно только на вокзале поменялось: старые часы сняли, а на их месте висел плоский экран, на котором крутилась реклама микрозаймов. «Деньги до зарплаты — за пять минут!» Я посмотрела на эти цифры и подумала, что за пять минут дают только микрозаймы и выговоры. Всё остальное в этой жизни раздают медленно и с очередью.

Такси не было. Я открыла приложение, и оно выдало мне пустую карту — ни единой машинки, будто локдаун в этом городе и не завершался. Я подождала минуту. Обновила. Карта не обиделась, но и не ожила. Поразмыслив, я поняла: город не вымер - просто население в шесть вечера либо дома, либо в очереди в «Магните». И во втором случае на меня даже не посмотрят, потому что очередь в «Магните» в этом городе — вещь почти религиозная, и отвлекаться на приезжих с чемоданами там не принято.

— Приезжая, что ль? — раздалось у самого локтя.

Я подпрыгнула. Подпрыгнула, между прочим, не по-женски, а по-тяжеловесно, с чемоданом в руке, так что чемодан описал в воздухе небольшую дугу и приземлился на ногу то-

му самому мужику с клеёнчатой сумкой. Мужик с достоинством отряхнул ногу, посмотрел на меня взглядом человека, который за жизнь всякое видал и в том числе меня, и растворился в сумерках. Так и не простившись. Так я и не узнала, кем он был. В Березовске, как я потом поняла, это нормально: люди проходят мимо друг друга без анкет, зато потом оказывается, что он твой двоюродный дядя, а дочка его — в твоём отделе.

Возле киоска стоял дед в шапке. В ноябре, замечу, в шапке — что само по себе не новость, но шапка была не главное. Главное было то, что дед смотрел на меня с таким видом, будто лично следил за мной последние двадцать лет и вот теперь подводил итоги. Итоги, судя по лицу, были удовлетворительные. Со скидкой на чемоданы.

— Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, номер такси — спросила я. Голос, заметьте, у меня дрогнул. Незнакомый дед,приценивающе осматривающий твою одежду, — это в Москве повод для тревоги и нажатия определённых кнопок в телефоне. В Березовске, как выяснилось через час, это просто вечерняя программа у киоска..

— Такси — кивнул дед так, будто вопрос закрыт и и ответа на него быть не может. — А такси, значит, нет. Такси у нас по праздникам. Сегодня пятница — а почему у нас пятница праздник, сама догадайся.

Он отвернулся к киоску, давая понять, что аудит закончен. Я постояла ещё минуту, прислушиваясь к себе, и дога-

далась почему-то не сразу. А потом догадалась: пятница — потому что суббота. Потому что по субботам здесь можно не бежать. Всё, весь праздник. Целый день, когда не надо никому сдавать план, звонить начальству и объяснять, почему ты ещё не все сделала. Целый день, когда можно просто жить. И это, между нами, был лучший праздник из всех, какие я видела: у нас в Москве выходные были, но у них внутри всё равно сидел понедельник. А тут понедельник, кажется, вообще жил отдельно и приходил только по расписанию.

Я подхватила чемоданы и пошла пешком.

Километра три. Но асфальт был ровный, чемоданы катились покорно, и, честно говоря, пешком по городу детства — это как гладить рукой ткань, которую знаешь на ощупь. Провёл ладонью — и вспоминается всё: где шершаво, где заело пуговицу, где в детстве была ямка, в которую я обязательно наступала, и мама говорила «смотри под ноги», а я смотрела на облака. Облака, между прочим, здесь тоже остались прежние. Низкие, тяжёлые,ноябрьские, с той особенностью, что им нечего делать, кроме как смотреть на город и ждать. У московских облаков всегда были дела: аэропорты, задержки рейсов, важность. А здесь у облаков работы не было, и они лежали над городом, как старое стёганое одеяло, — и я, шествуя под ними с чемоданами, чувствовала себя лоскутом, вернувшимся на место.

Город поменялся и не поменялся одновременно.

Пекарня на углу Школьной стала аптечным пунктом. Ап-

тека, что была дальше, стала пекарней. Мелочь, а в глазах дало: город словно решил на моей памяти поменяться фигурами, как в детской игре, — сядем кружком и поменяемся местами. Смею предположить, что за десять лет город успел сделать так не один раз, и я бы этому не удивилась: пекарня, кстати, торговала честнее аптеки, аптека же теперь была обязана поднимать людям настроение — и обе функции, как мы знаем, человечество с годами путает всё сильнее.

В здании бывшего Дома пионеров зажглось пластиковое окно глухим жёлтым светом — как глаз робота, поставленный не на своё место. Дом пионеров, между прочим, я в этом здании оплакивала трижды: когда закрыли кружок вязания, когда закрыли сам Дом и когда в нём открыли салон сотовой связи. Салон закрылся через год, а вязание в этом городе, как я потом узнала, не закрывалось никогда. Оно ушло в дома, на кухни, к бабушкам и вернулось через сорок лет в лице возрождённого кружка при библиотеке — но об этом позже, у меня сейчас другие дела.

Мимо школы я прошла неспешно. За забором горел второй этаж — там сидела продлёнка, и на окнах изнутри висели бумажные снежинки. Двадцать пять лет назад среди них висела и я, в белой кофте поверх школьной формы, которую мать надевала на меня по большим праздникам. Кофта была белая, а форма — коричневая, и комбинация эта, по нынешним меркам, должна была вызвать у меня травму. Не вызвала. Вызвала ностальгию — что хуже и дороже в лечении.

Мать умерла на девятом году моей московской жизни, отец — на двенадцатом. Заметьте, как устроена арифметика: когда тебе тридцать два и ты мчишься по карьерной лестнице, держась за перила, — девять лет, двенадцать лет, это просто цифры на больничном. А когда тебе сорок два, и ты стоишь у чужого забора с чемоданами, эти цифры вдруг перестают быть цифрами и становятся этажами. Ты живёшь на четвёртом, а родителей твоих больше нет ни на одном из этажей, и даже звонить больше некому, и некому спросить: «Ты доехала? Ты поела? Ты не замёрзла?» А замёрзла я, между прочим, именно тогда, у забора, — и впервые за десять лет мне некому было об этом сказать. Не потому, что не было кому, — а потому что те, кому можно было, уже не отвечали.

Тётя Шура — мамина сестра — осталась последней, кто помнил меня в белой кофте. Она и в больнице, где-то в последний месяц, держала меня за руку и говорила: «Ты, Верунь, к белому не привыкай. Белый — это на праздники. А праздники, чтобы были праздниками, надо заслужить». Я тогда не поняла. Я вообще мало чего понимала в тётиной философии — она была у неё простая и древняя, как черпак, и потому, наверное, самых важных вещей в ней не объяснить словами, а только показать.

Два месяца назад её не стало. И я осталась последней, кто помнил тётю в ситцевом платье. Такая вот эстафета памяти: передаёшь её сама себе и удивляешься, как мало нас осталось в команде.

С тех пор, как не стало матери, слово «дом» я произносила быстро и сжав зубы — как произносят дежурное «взаимно», когда не хочется. За десять лет я сменила три съёмные квартиры, одну ипотеку и одного мужа, и все они, то есть квартиры, ипотека и муж, назывались у меня в голове одинаково: «временно». А теперь мне предстояло не просто произносить это слово. Мне предстояло в нём жить. И слово это, надо признать, смотрело на меня из темноты Садовой улицы — с лёгким упрёком, как смотрят родители, к которым не приезжал годами.

А снег. Снег пошёл, когда я дошла до конца Садовой.

Не падал, а именно пошёл — крупный, медленный, основательный, как будто снег тоже согласился мне навстречу и встал в мою сторону. В Москве снег всегда идёт против тебя: лезет в лицо, под воротник, в обувь, в сливные решётки. Местный снег падал мне на плечи бережно, как будто знал, что я устала, и предлагал: ложись, мол, давай, я подстрахую.

Я стояла перед тётиным домом и смотрела, как он ложится на железную крышу, на старый тополь, на покосившийся штакетник. Дом оказался больше, чем я его помнила. Странно, конечно, — дома не растут, я в курсе, но в детстве, приезжая сюда на каникулы, я смотрела на него снизу, из-под тётиной руки, и дом был пределом мира. Теперь мир сжался до размеров тётиного двора, и дом смотрел на меня сверху вниз двумя тёмными окнами и одним освещённым.

Тётя умерла два месяца назад. А в освещённом окне кто-

то был.

Кстати, о пропажах. Я забыла на платформе термос. Не буду сейчас рассказывать, какой — обычный, стальной, купленный в московском «Икее» за смешные деньги и потому особенно дорогой, потому что смешные деньги за него платила я сама. Вспомнила я о нём не сразу, а через неделю, в очереди за цементом, — и тогда впервые за все эти дни села на пол пустой комнаты и разревелась над пропавшим термосом. Хотите верьте, хотите нет — плакала я, конечно, не про термос. Просто иногда человеку надо к чему-то мелкому прицепиться, чтобы дать себе официальное разрешение на слёзы. Термос был самый безобидный повод из всех возможных, и я им воспользовалась без зазрения совести. Есть, между прочим, у психологов такой приём — «давайте поплачем о чем-нибудь пустяшном». У меня он включился сам, без психолога, в очереди за цементом. Бесплатно, заметьте. Московский психолог брал пятнадцать тысяч в час.

Но это потом. А сейчас я поставила чемоданы на крыльцо, толкнула дверь и обнаружила, что она не заперта.

Вот тут, товарищи, я на секунду перестала дышать. Дверь была не заперта — а дом умершей тёти стоял два месяца пустой, и в нём горел свет, и за светом кто-то сидел. У меня, надо признать, в Москве был анекдот про такие случаи, и я его сейчас вспоминала с огромным усилием и с ужасом: анекдот заканчивался плохо для всех, кроме участковых.

Я открыла дверь.

И понеслась, как в плохом кино: щёлкнула выключатель, схватила первый попавшийся тяжелый предмет – утюг, из тех, что до сих пор стоят у всех наших матерей на полках, и пошла по дому — по коридору, мимо тётиной спальни, мимо кладовки, где, как я потом узнала, лежал мешок с наследством, — на кухню.

На кухне, за тётиным столом, сидела женщина.

Такие сцены, заметьте, в фильмах снимаются с тревожной музыкой. В жизни у меня не было музыки, зато был запах — варенья и пыли одновременно, — и был этот свет, и был этот тёмный шерстяной кардиган, и были эти уложенные волосы, и были эти очки в тонкой оправе на цепочке, — и всё это складывалось не в пугающее, а в странно-знакомое, как будто я где-то уже видела эту женщину, только не в жизни, а в детстве, из-под тётиной руки.

— Ну, — сказала женщина. — Приехала всё-таки.

Голос у неё был спокойный, с той особой интонацией, какой разговаривают с опоздавшими. Не с чужими, а именно с опоздавшими — людьми, которые кое-где не успели, и теперь их ждали, ждали, ждали, а они всё-таки пришли.

Утюг я опустила. Женщина на это никак не отреагировала, но, по-моему, всё отметила. Такие женщины, как выяснилось позже, ничего не упускают — особенно то, что держат в руках оппоненты.

— Простите, а вы кто? — спросила я.

— Кто я? — Она сняла очки. — Лидия Павловна. Я с Шу-

рой сорок два года через стенку жила. Наш дом — это две половины, Вера Геннадьевна, если тебе это о чём-нибудь говорит. Сорок два года через общую печную стену, между прочим. Я в неё дрова кладу, а тепло идёт к обеим. Так и жили: я дрова, она тепло.

Она знала моё имя. Я на секунду зависла. Десять лет в Москве — и дворник через дорогу не знал, как меня зовут, а консьерж звонил мне «вы там на двенадцатом». А тут меня по имени-отчеству называет женщина, с которой я не разу в жизни не разговаривала.

— Вы меня знаете?

— Всю жизнь знаю, — сказала Лидия Павловна. — Тебе семь лет было, ты у Шуры в гостях стояла на табуретке и стекла мыла в серванте. Разбила две дверцы. Я через стенку слышала, как Шура тебя отчитывала, а как ты хныкала — тоже слышала. Стенка у нас, повторяю, общая. В ней всё слышно. Кто спит, кто кашляет, кто по ночам чайник ставит.

Она замолчала на секунду — и я, слава богу, не расслышала то, что она там ещё собиралась сказать про ночной чайник. А она, кажется, собиралась. Но потом передумала и сказала вместо этого:

— Чайник ты можешь не ставить. Я уже поставила. И посуду помыла, и постель тебе на диване разобрала, и пирог оставила на столе, под полотенцем. Пирог с капустой. Шурин рецепт, правда, тесто у меня не то — она на простокваше делала, а у меня вчерашний кефир был. Зайдешь в магазин

— простоквашу купи.

Я стояла на пороге тётиной кухни и слушала это перечисление — чайник, посуду, постель, пирог, простоквашу, — и не могла понять, что со мной происходит. Со мной происходило то, что в Москве у меня случалось в последний раз, кажется, лет пятнадцать назад, — а там меня ждали. Вот так вот, просто ждали. Не с цветами, не с торжественной встречей, не с планёркой и не с переговорами. Просто пирог на столе под полотенцем и «зайдешь — простоквашу купишь».

— Я приехала заночевать, — сказала я осторожно, потому что прежде чем чувствовать, надо было ещё понять, где я вообще нахожусь. — Разбираться буду завтра.

— Разбирайся завтра, — согласилась Лидия Павловна. — Только свет погаси, когда ляжешь, и в подпол не ходи, там половицы старые. И газа горелки все не трогай — кран с той стороны, у Шуры всегда с той стороны крутили, не перепутай. И веники в сарае не трогай, они на продажу. И кошку, если придёт, не выгоняй. Кошка общая, у неё виза на две половины.

— У неё что?

— Право прохода, — сказала Лидия Павловна с непередаваемым достоинством. — Кошка в этом дворе прописана раньше тебя, милочка. Так что если придёт на крыльцо — впусти. Она, между прочим, воспитанная, на стол не лезет. В отличие от некоторых, кто сейчас стоит в дверях и чемоданы не вносит.

Я оглянулась. Чемоданы стояли на крыльце, снежок уже вовсю садился на них с обеих сторон, и картина «брошенные чемоданы» вырисовывалась сама собой, во всей своей драматической прелести.

Лидия Павловна поднялась — медленно, тяжело, но без единого лишнего движения — и прошла мимо меня в коридор, слегка коснувшись моего плеча. Не приобняла. Измерила. Лидия Павловна, как я потом поняла, измеряла людей плечом, как ростомером в поликлинике. Что она там намерила, я узнала позже, и позже же поняла, что намерила она всё правильно.

— Руки не домашние, — сообщила она с порога, уже на улице, через приоткрытое окно. — Это не упрёк, это диагноз. Я гвозди у Шуры брала, занесла. Гвозди в прихожей, в коричневой банке. Спокойной ночи.

Калитка стукнула. Я осталась стоять посреди тёплой, но чужой кухни и не знала, что чувствовать.

Обиду? Меня, вроде бы, назвали неумехой. Облегчение? Мне не задали ни одного вопроса: почему приехала, от чего уехала, замужем ли, почему зимой. Березовск, как выяснилось позже, спрашивал иначе. Не «почему», а «что ты тут будешь делать к четвергу». И поверьте, второй вариант страшнее.

Я нашла в коричневой банке гвозди — все были, и не просто были, а рассортированы по размерам, как в магазине. Тётя. Я забыла сказать: тётя всю жизнь работала нормировщи-

цей на фабрике, где всё надо было считать и раскладывать, и эту профессию она пронесла через всю жизнь и всю квартиру. Гвозди по банкам, крупы по банкам, а фотография деда на стене — по центру, с точностью до сантиметра, я проверяла уровнем, когда была маленькая. Дед, кстати, на фотографии был живой, с усами и в ватнике, и смотрел с неё на меня с тем же спокойствием, с каким сейчас на меня смотрела его память на стене.

Пирог я нашла. Под полотенцем, на тётином столе, — и он, между прочим, был холодный, потому что Лидия Павловна пекла его, вероятно, часов в шесть, рассчитывая, что я приеду к шести, а я приехала к восьми и еще сорок минут шла пешком. Пирог с капустой был так себе — тесто, скажем честно, подвело. Затянутое. Кефир всё-таки не то. Я съела два куска, а третий отложила — и потом, уже в тётиной постели, вспомнила про отложенный кусок и пошла доела его ночью, на кухне, босиком, при одном свете над плитой. В Москве я такого не делала лет пятнадцать.

Я легла на тётин диван под тётин платок вместо подушки и слушала, как дом скрипит по-своему, по-тётиному, короткими сухими звуками — как человек, который ворочается во сне и которому что-то не так лежится.

За стеной, в сорока сантиметрах от моей головы, засыпала Лидия Павловна. Я думала об этом, засыпая, с неожиданным чувством: вот человек, который знает про мою тётю больше, чем я сама. И стена у нас общая. И печка общая. И, кажется,

скоро будет общая жизнь — потому что когда соседи делят печку, они делят и всё остальное, включая суп, сплетни и гробовые расходы.

А проснулась я от того, что капало.

Капало на кухне. С потолка — ровно, терпеливо, по капле в две секунды. На тётином столе уже стояла эмалированная миска, и миска была поставлена, судя по всему, Лидией Павловной ещё ночью. Каким образом, спросите вы, — а вот таким: у неё был ключ от дома. И половина стены. И, как я смутно догадывалась уже тогда, ключи от моей судьбы.

— Долго будешь смотреть? — раздалось от двери. Лидия Павловна стояла в проёме с тазиком в руках и уже не спрашивала, а констатировала.Спрашивать, как она открыла дверь, видимо,было бесполезно: очевидно,у нее были свои ключи. — Я тебе ещё на той неделе говорила: труба. У Шуры труба с две тысячи девятого течёт. Она латала. Латать ржавчину, Вера Геннадьевна, это как латать возраст.

— Как на той неделе? — опешила я. — Вы же меня в первый раз видите!

— Я на той неделе говорила нотариусу, чтобы передал, — спокойно ответила она. — Он передавал. Он такой: всё, что ему говорят, он в бумажку записывает и потом эту бумажку складывает в папочку. И по звонку сообщает.

Почему я не позвонила нотариусу? Позвонила. Дважды. Первый раз он был на обеде — с половины двенадцатого до половины третьего, я вам не шучу, тут в городе так обедают

все, включая скорую. Второй раз он был «на объекте». На каком объекте, я не спросила — в Березовске слово «объект» звучит слишком пафосно для города, где самая высокая точка — водонапорная башня, и та с провалившимся куполом.

Весь день ушёл на телефонные звонки. В Березовске не было приложений и виртуальных очередей — здесь была справочная женщина Зоя, которая знала наизусть номера сантехников, их жён и кто из них с кем пил в прошлую пятницу. Я набрала справочную — а это, между прочим, единственный телефон, который я помнила наизусть со школьных времён, и он работал! — и Зоя ответила на третьем гудке.

— Справочная, — сказала она таким тоном, что я поняла: за этим словом стоит не должность, а должность плюс три подпольные профессии.

— Здравствуйте, мне нужен сантехник.

— Срочный или как? — спросила Зоя деловито.

— А какие бывают?

— Срочный — это Лёха, он придёт когда выпьет кофе и закончится футбол. Как — это Палыч, он придёт в четверг, посмотрит, скажет, что надо справку из администрации, и уйдёт навсегда.

— Срочный, — сказала я твёрдо.

— Лёха будет через два часа, — сказала Зоя, не спрашивая, согласовывает ли она это с Лёхой. Она уточнила куда отправить сантехника . —Ты, выходит, Верка Соколова? Шур-

кин племянник?

— Племянница.

— Ну, племянница, — согласилась Зоя, явно не видя принципиальной разницы. — Я тебя запишу: Верка Соколова, Садовая, Шурин дом... Лёха будет.

И вот пока Лёха ехал, я, стоя на холодной кухне с миской, которая капала, думала о том, что же со мной всё-таки случилось. И понял наконец так: со мной случилась жизнь. Не та, которую я планировала, — с планами, с графинками, с красивым портфелем на плече, — а настоящая, без плана. Настоящая, между нами, всегда начинается с миски, которая капает, и с чужой женщины, которая стоит в дверях и говорит, что у тебя руки не домашние.

Я положила миску на место. Постояла. И пошла искать ключи от дома — потому что даже в собственной жизни, оказывается, надо сначала найти ключи. Ключи, как выяснилось, лежали на видном месте: в тётиной сумке, у двери, рядом с запиской, на которой тётиным почерком было выведено всего одно слово: «Верунь».

Одно слово. И под ним — точка.

Тётя, надо сказать, была женщиной немногословной. Но иногда одно слово от неё значило больше, чем десять лет разговоров.

Глава 2

Дом на Садовой
Глава 2. Диагноз

Лёха пришёл ровно через два часа.

Не через два часа десять, как положено любому нормальному сантехнику на этой земле, и не через три, как положено любому нормальному сантехнику вообще, — а ровно, минута в минуту. Я сначала решила, что это совпадение. Потом, уже позже, узнала: Лёха не совпадал никогда. Лёха в Березовске был человек-расписание. Он, кажется, единственный в городе, у кого внутри сидел не понедельник, а будильник.

Стук был странный — не в дверь даже, а в косяк. Лёха постучал в деревянную боковину дверного проёма, костяшками, три раза, и я от неожиданности уронила полотенце, которое держала в руках по совершенно нечеловеческой причине: я вытирала тётин сервант. Ничего лучшего за сорок минут ожидания я не придумала. Стою посреди чужой-своей кухни, вытираю посуду, которую не помню когда видела, — и жду сантехника, как героиня старой комедии.

Кстати, о серванте. За эти сорок минут я успела узнать про него много нового. В нём три полки: верхняя — «парадная» (на ней стояли чашки, которые никто не трогал никогда, потому что они были «для гостей», а гости в этом доме, видимо, вели себя прилично и не пили чай), средняя — «ра-

бочая» (там всё было попроще, зато чашек больше), и нижняя — «страшная». На нижней стоял самовар, который, судя по слою пыли, пережил не одну пятилетку, а может быть, и одну войну. За самоваром, в тумбе, лежал свёрток с чайными ложками, и на каждой ложке было выгравировано по букве. «Ш. А. К.» — Шура Аркадьевна Корнеева, тётина девичья фамилия. Тётя, оказывается, до замужества была Корнеевой, и в честь неё, вероятно, назвали чайные ложки. Или ее в честь ложек. Кто кого, я не выяснила.

— Открыто! — крикнула я.

Дверь открылась сама. То есть открывалась, разумеется, снаружи, но так, как будто это сделал хозяин, а не вошедший: без стука коленом, без единого удара о плинтус. В проёме стоял мужик лет сорока — кепка в руке, на плече сумка с разводным ключом, лицо спокойное, как у человека, который уже видел всё, включая ваши трубы.

— Соколова? — спросил он, не «здравствуйте» и не «добрый день».

— Вера Геннадьевна.

— Ну да. Ты Верка, — согласился он так, что вопрос был закрыт навсегда. — Лёха. Печная труба у тебя капает, потолок у Лидии Павловны течёт, стояк общий, я его знаю наизусть. Где ключи?

— А вы…

— Тётка твоя, — сказал Лёха, не дожидаясь вопроса. — Шура. Я у неё год трубу латали. С две тысячи девятого латал,

если тебе интересно. Так что дом твой я знаю лучше своего.

Он прошёл на кухню, снял кепку, повесил её на тётины часы — на гвоздь, которого, если присмотреться, в стене не было, но который Лёха видел, — и присел у тумбы под раковиной. Минуты две он просто слушал. Я впервые в жизни видела, чтобы взрослый человек слушал трубу так, как слушают музыку. Не глядел, не ковырял — слушал. Потом кивнул трубе, как собеседнице, и полез наверх, на полку с посудой, откуда шла подводка.

— Слушай, — сказала я, — а ты кто такой, чтобы лезть без спроса?

— Сантехник, — сказал Лёха из-под раковины. — У нас тут сантехник — это не «кто-то, кто лезет без спроса». Это «кто-то, кто приходит, когда зовут». Ты позвонила. Я пришёл. Вся бюрократия.

— А если бы я не позвонила?

— Тогда бы я пришёл в понедельник, — сказал Лёха, не меняя интонации. — Потому что в понедельник я всё равно иду по Садовой. Садовая у нас на моём маршруте. Думаешь, я каждый раз у киоска стою и жду, пока ты позвонишь? Я по маршруту хожу. Двадцать лет по одному маршруту. Меня тут все видели чаще, чем своих бабушек.

Из-под раковины он вынырнул, отряхнул руки о брюки и спустился в подпол — тот самый, который, по словам Лидии Павловны, содержал половицы старые и был запрещён к посещению. Я стояла на кухне и слушала, как внизу возится че-

ловек, которого я видела второй раз в жизни, — и мне вдруг сделалось так странно, что я даже присела на тётин табурет. В Москве я за десять лет ни разу не пустила в квартиру мастера, пока не прочту отзывы о нём в интернете, лучше не одного, а минимум трёх, из независимых источников. Здесь же через сорок минут после звонка в моём доме под полом копался незнакомый мужик, а я сидела и слушала — и не боялась нисколько. Вот что значит город, в котором каждый третий тебя видел в белой кофте.

Под полом Лёха возился долго. Я успела за это время заметить пару вещей. Первая: под тётиным окном, снаружи, стояли санки. Старые, деревянные, из тех, что делают деды внукам. Тётя, насколько я помнила, внуков не имела. Санки, стало быть, были либо от меня — но я их не помню, — либо от кого-то, кто был здесь до меня.

Вторая вещь, которую я заметила: у тёти на подоконнике, в банке из-под кофе, лежали семена. Не просто лежали — стояли, подписанные. Я подошла, повернула банку, прочитала: «Томаты «Дамские пальчики». Посев — конец апреля. В. Г.».

В. Г. — это я. Вера Геннадьевна. Тётя оставила мне семена. С инструкцией по посеву.

Я стояла с этой банкой посреди кухни и не знала, что делать. Заплакать? Не тот случай: надёжнее смех. Смех — это как платок: если уж реветь, то в него. А тут я стояла и ржала в голос, над банкой из-под кофе, в пустой кухне, в городе,

где я провела вторые сутки своей новой жизни. Кто-то за окном, на лавочке, наверняка уже записал: «Шурин племянник смеётся с банки». Пусть записывает. Хорошая репутация в этом городе, в отличие от московской, стоит дешевле, а держится дольше.

Наверх Лёха вернулся мрачным.

— Так, — сказал он. — Садись. Это разговор не для стоячих.

— Так плохо?

— Хуже. Слушай. Труба у тебя сгнила целиком. Не шов, не стык — целиком, от стояка до крана. Стояк тоже. Пойдёшь по дому — то тут, то там закапает. Шура знала об этом. Она тебе оставила в подполе инструменты, если ты вдруг соберёшься сама. Собираться не будешь, я тебя предупредил.. Трубу меняем мы, на сварке, я с пацанами.

— Сколько?

Лёха назвал цифру. Я переспросила. Лёха повторил. Внутри как будто открыли форточку: из комнаты ушла та часть воздуха, которой дышится легко. Цифра была такова, что треть моих московских накоплений переставала быть накоплениями и становилась трубами. Прекрасная метаморфоза: ложишься спать с подушкой безопасности, просыпаешься — и подушка уже проржавела и капает тебе на голову.

— Дорого? — спросил Лёха, глядя на моё лицо.

— Нет, — честно сказала я. — Просто неожиданно.

— Слушай, Вера Геннадьевна, — сказал он и сел напро-

тив меня, на тётин табурет, — я тебе сейчас скажу то, что не говорил ни одной хозяйке за двадцать лет. Дом, который стоит пустым, гниёт в четыре раза быстрее дома, где живут. Это физика. Вода стоит, воздух стоит, всё стоит. Шура дом держала, потому что жила. Ты приедешь — дом будет жить. Захочешь уехать — дом за год до пустоты дойдёт. Это не я тебя пугаю. Это я тебе говорю, как есть. По Садовой, между прочим, больше никого не осталось, кто этот дом помнит изнутри, кроме Лидии Павловны и меня.

— А ты…

— А я Шуре год трубу латал, — повторил Лёха, и вдруг в голосе у него что-то сломалось. Не дрогнуло — сломалось, как стёклышко в детском бинокле: беззвучно и внутри. — Каждый месяц. Ты не представляешь, что это такое — латать, латать, латать, когда латать уже нечего. Она мне пекла пироги. Я ей говорил: не пеки, я не за пироги прихожу. А она пекла. Каждый раз пекла. «Лёша, — говорит, — пирог — это не деньги. Пирог — это, чтобы ты знал, что тебя ждут». И всё. Пять минут спора, а потом пирог.

Он встал, одёрнул сумку и ушёл в прихожую. У двери обернулся:

— Тебе надо, чтобы дом жил. Значит, тебе надо позвонить мне в апреле. За трубу и за крышу. Я подъеду, и мы её сделаем. И пироги мне, если хочешь, не пеки. Просто дверь открывай. Этого хватит.

Дверь за ним закрылась тихо. Я осталась сидеть на табу-

рете, слушая, как в подполе тихонько капает моя труба — ржавая, с две тысячи девятого года, — и вспоминала, как тётя, в последнем разговоре по телефону, сказала мне что-то вроде «пирог — это не

Лёха ушёл, а я осталась стоять посреди тётиной кухни и смотреть на дом.

Дом был большой — не показалось: большой. Три комнаты, кухня, кладовка, прихожая, сени, подпол. В Москве у меня была двушка на пятьдесят два метра, и я в ней жила одна и считала, что живу просторно. Здесь комнат было три, и в каждой был запах — не пыли, а дерева, долгого, выдержанного, как коньяк. Дом выстоялся. В нём пахло не «запахами отсутствия людей», как пишут в объявлениях, а осмысленной, сшитой жизнью.

И вот, стоя посреди кухни, я впервые с момента переезда осознала простую вещь: дом мне не чужой. Он был мне не чужой с того самого момента, как я вошла. Он был мне знакомый, как школа, в которой ты училась и которую не посещала двадцать лет. Заходишь — и всё знакомо, и всё поменялось, и учителя уже другие, и обои уже другие, но запах коридора — тот самый.

Я пошла по комнатам — просто так, без дела, просто чтобы узнать каждую заново.

В тётиной спальне — кровать, тумбочка, на тумбочке — радио. Я включила: поймала местную волну, «Время», и объявление о том, что в Доме культуры в четверг — вечер для

тех, кому за пятьдесят. Я выключила. Меня, сорокадвухлетнюю женщину, стоящую посреди чужой спальни, вдруг до жути заинтересовало, о чём они будут говорить на вечере «для тех, кому за пятьдесят». И почему я почему-то уверена, что знаю.

Кстати, о радио. Тётя, как выяснилось, была женщиной не только с острым ухом, но и с определённой тягой к порядку в звуке. На тумбочке, рядом с радио, лежал блокнотик, в котором она записывала, что где крутила, когда и почему. «Вторник, 19 октября. Волна поворотная. Похвалила погоду». Или: «Четверг, 22 октября. Поймала Москву. В Москве о нас не говорят. Это хорошо». В Москве о нас не говорят — это хорошо. Тётя была мудрее многих московских политологов: в Москве о нас не говорят, потому что в Москве говорят только о себе. И это не толерантность — это диагноз.

В гостиной — шкаф с посудой, сервант, диван, ковёр на стене. Ковёр — это отдельный жанр. Я в Москве двадцать лет ничего на стену не вешала, а тут ковёр — и всё сразу: и орнамент, и ухоженность, и скромность, и достаток. Я потрогала ковёр. Пыли на нем было немного - то есть пыль была ровно такая, сколько может быть, когда дом осмотрела соседка с ключами и вытряхнула половицу. Больше — ничего.

А ещё в гостиной, между подоконником и шкафом, стояла тумбочка. Маленькая, на трёх ножках, — и на ней, аккуратно, стопкой, лежали мои фотографии. Двадцать пять лет назад, девятнадцать, двенадцать, восемь. Отсортированные,

подписанные, лежащие друг на друге ровной стопкой, как в альбоме.

Я не знала, что тётя меня любила. То есть я знала, что она любит, что помнит, что звонила каждую неделю. Я не знала, что она складывала в тумбочку мои фотографии — и складывала так, как складывают не для себя. Для того, кто придёт. В моей московской жизни ни у кого не лежала стопка моих фотографий — кроме, может быть, у матери, но её уже не спросишь.

Я стояла над этой стопкой минуты три. Потом положила сверху последнюю, свежую, из паспорта, — не потому, что хотела там что-то поменять, а потому что это была единственная фотография, где мне сорок два. И подумала: вот, теперь и этот год есть.

После гостиной я пошла в кладовку — за тётиными хозяйственными сумками. Тётя хранила бумаги в сумках — это я выяснила, ещё разбирая вчерашние коробки. Сумки висели на крючках, три штуки, старые, но целые, и в одной из них, по классике жанра, лежала папка.

Коричневая. Потёртая. Перевязанная бечёвкой.

На бечёвке был узел. Из тех, что вяжут на память.

Я в детстве бечёвку ненавидела — не выношу, у меня от неё истерика в восемь лет была, бабушка меня ругала, а я плакала. Теперь я на эту бечёвку смотрела с уважением человека, который в своей жизни завязал достаточное количество узлов на память, чтобы знать: узлы — это не «запутал-

ся». Узлы — это «запомнил».

Я не развязывала его до утра. Не из страха — из уважения к дню, который и так был уже длинный. И, откровенно говоря, из страха тоже. В сорок два года человек уже знает: всё, что перевязано бечёвкой на память, — это или деньги, или похоронка, или письмо, которое лучше бы не читать. И чаще всего — всё сразу.

В папке были счета.

Квитанции за отопление — за три года, и на трёх из них красный штамп «долг». Квитанция за капитальный ремонт, оплаченная за месяц вперёд, — что за спешка, я не поняла, но запомнила. Чек на валенки сорок второго размера. Тётя носила сороковой.

Значит, валенки куплены для кого-то.

Я раскрутила этот чек основательно. Экономист — это не профессия, а состояние души: пока мир вокруг не сведён к дебету с кредитом, ты не спишь. И вот я сидела на кухне над этим чеком и вела следствие.

Факт первый: тётя купила валенки в октябре. Датировано — она на чеках всегда дату писала, я потом по этим датам её жизнь восстанавливала, как по судовому журналу.

Факт второй: сорок второй размер. Не сорок первый, не сорок третий — сорок второй. На два размера больше тётиного. И — неожиданная вещь — ровно мой. Мой. Я утром мерила сапоги — сорок два.

Факт третий: цена. Обычная, не подарочная. То есть не

покупка «на тридцатилетие» и не «внуку на память». Валенки куплены так, как покупают человеку, который придёт и попросит. Или тому, кто, по мнению покупателя, обязательно когда-нибудь попросит. Или — и вот тут у меня внутри ёкнуло — тому, кто приедет, и надо будет, чтобы у него было всё готово, включая валенки.

Кто ходил по Березовску в тётиных валенках, я не знала. Лидия Павловна — женщины ее роста не носят сорок второй: сорок вторые — это либо мужские, либо большие женские. Мирон Карпыч — а про Мирона Карпыча я тогда ещё не знала, забегаю вперёд, — на чеке отпадал: у него, как выяснилось позже, из обуви были ботинки и всесезонные сапоги, валенки он презирал словом «простудные».

Я написала на чеке карандашом вопросительный знак — прямо на чеке, как пишут на полях учебника. А потом подумала и добавила снизу: «Спросить у Л. П.». У них в этом городе спросить — не то что выспросить. Спросить — это нормально. Выспросить — уже конфуз. В Москве же наоборот: выспрашивают все и всегда, а спросить прямо боится никто.

Положила чек отдельно. К другим бумагам подшивать не стала — не тот случай. Бывает у документов судьба отдельная: они лежат не в общей папке, а на видном месте, лицом к тебе. Ждут.

И лист, сложенный вчетверо, с надписью на сгибе: «Вера, если ты читаешь это — прости за пудру на дне мешка».

Я не поняла. Потом поняла. В кладовке стоял мешок —

тётин, старый, из-под муки, с надписью «МУКА». Я вчера таскала его, когда выносила мусор, и ставила на место, не заглянув, потому что он был просто мешок. Мешок стоял у меня на пути весь день и как бы намекал. Я на него даже налетела раз — и извинилась перед ним автоматически, по привычке жить среди москвичей. Не догадалась заглянуть. Москвичи извиняются перед всем, кроме ближайшего, — а заглядывать в мешки их не учили.

Я пошла в кладовку, опустила руку на дно и вынула свёрток, завёрнутый в чистое кухонное полотенце, которое пахло ванилью.

В свёртке было сорок тысяч рублей — старыми сотнями, аккуратными пачками, перевязанными аптечной резинкой. И тетрадь.

Тетрадь была в клетку, общая, из тех, что продают к первому сентября. На обложке тётиным почерком, крупным, с нажимом: «РЕЦЕПТЫ. НЕ ЧИТАТЬ ПОСТОРОННИМ. ВЕРА — МОЖНО».

Меня зацепило слово «МОЖНО». Тётя всю жизнь всё разрешала мне с большой буквы — на обложках, на обоях, в телефонных разговорах. «Вере можно», «Вере не надо», «Вере самой решать». И вот сидишь ты в сорок два года, и единственное разрешение, которое у тебя осталось на бумаге, — это разрешение читать тетрадь с рецептами. И ты читаешь. И это лучшее разрешение из всех, какие тебе когда-либо выписывали.

Я села на кухне при выключенном свете и читала. Тетрадь была не про еду. Тетрадь была про еду и про деньги сразу: на каждой странице слева — состав, справа — счёт. «Пирог с капустой. Мука — 62 р. Масло — 89 р. Молоко взято у Л. П. — отдать 100 р., она забыла, я помню». Строки шли годами, внизу страниц — итоги месяца. На последней исписанной странице был список: «Долги мои, простить не велю, отдать велю: Мирону Карпычу — 12 000. Зое — 3 000. Аптека — 1 400. Отопление — 8 760».

Значит, нотариус не всё упомянул, потому что не знал. Тётя никому не говорила, что должна. Она держала долги при себе, как держат боль, — а боль держать в себе вреднее всего, но кто ж её спрашивал. Особенно в этом городе, где вопросы задают только по специальному графику и обязательно в лоб.

Между рецептами попадались и другие записи. Например: «19 марта. Л. П. принесла молоко. Спорили про телевизор. Помирились на том, что оба правы». Или: «5 июня. Мироша починил крыльцо. Не сказал ни слова, просто починил. Утром вышла — стоит новый». Или — и эта строчка меня достала сильнее всех: «Год кончается. Всё, что хотела, —сделала. Что не сделала — не хотела».

После тетради я не могла уже идти спать. Тело было усталое, а внутри всё звенело — как камертон, по которому ударили и не остановили. Я зажгла свет на кухне, налила себе тётиного чаю и села думать.

Думать я, как выяснилось, умею только руками. В Москве я думала в таблицах: откроешь эксель, разложишь проблему по столбцам — и она уже наполовину решена. Здесь экселя не было, а стол был тётин, скрипящий от любого движения — на нём надо было работать. Я огляделась в поисках бумаги и увидела сундук.

Сундук стоял в тётиной спальне, у окна, под белой накидкой. Замок на сундуке был открыт. Тётя запирала его только от чужих — я это знала с детства: для меня сундук всегда был открыт, от гостей — всегда заперт. Даже ключа не прятала. Просто запирала — как объявление: «свои — входят, чужие — стучат». Свои, то есть я, — и сейчас вошла.

В сундуке лежала жизнь в три слоя.

Нижний — документы и старьё: комсомольский билет тёти, справки, выписки за все её двадцать лет работы нормировщицей, две фотографические коробки, платок деда — тёмно-синий, в горошек. Я подняла платок. На сгибе — метка: химчистка, «выдано 11.10». Октябрь. Тётя почистила дедов платок в октябре — в последний месяц своей жизни. Зачем? Деда не было тридцать лет. Платок не носил никто. Но она его вычистила, сложила и положила сверху — на видном месте, лицом к тому, кто придёт.

Может, она знала, что умрёт. Может, не знала. Может, просто чистила платок, как чистят всё, что дорого, перед зимой. Но у меня внутри, между прочим, щёлкнуло: а я перед отъездом из Москвы не чистила вообще ничего. Я просто

собрала чемоданы и уехала, и посуда моя так и стоит в мойке — недельной давности, грязная, с отмокшей кашей. Вот и вся разница между нами. Вот и весь тест на «дом, который живёт».

Средний слой — полотно. Тётя в свободное время ткала коврики. Десятка полтора, свёрнутые в рулоны, все разные: полосатые, клетчатые, один — с буквой «Ш», вплетённой в узор, — это, видимо, для себя. Я развернула два. На одном из них, между прочим, была метка мелом: «для Веры». Не «на память», не «от тёти». Просто «для Веры». Как будто коврик был адресован мне, как посылка. Я положила его на диван. Пусть будет мой. Первая вещь в этом доме, которая стала моей не по завещанию.

Верхний слой — и вот он меня добил — был слой писем. Мне.

Тётя писала мне письма. Не отправляла — писала. Десятка три, в конвертах, с марками, аккуратными ровными колонками. Даты — с девяносто восьмого по нынешний октябрь. Двадцать пять лет. Двадцать пять лет моя тётя писала мне письма, которые я никогда не прочту, потому что она их не отправила.

Я открыла первое — у него, к счастью, было больше шансов быть прочитанным, чем у меня удержаться и не открыть. Двадцать восьмое августа, девяносто восьмой год. Моя свадьба. «Верунь, милая, поздравляю тебя с замужеством. Ты теперь взрослая, и я говорю тебе одну вещь, которую гово-

рить не буду, но напишу: муж твой — хороший, но слабый. Слабый — это не всегда плохо, иногда это просто как погода. Но с погодой надо заранее договариваться. Ты не договаривайся, ты сама решай, что тебе нужно, а он подстроится — он умеет, я видела. Если не подстроится — приезжай. Дом стоит. Пирог будет».

«Если не подстроится — приезжай. Дом стоит. Пирог будет».

Двадцать пять лет назад. Двадцать пять лет эта записка лежала в сундуке и ждала. И вот теперь, в сорок два года, сидя на кухне с остывшим чаем, я прочла её — и поняла, что тётя написала мне это письмо раньше, чем я узнала, что мне оно нужно. Она не угадала. Она просто знала меня лучше, чем я знала себя. У тёти, между нами, было такое особое зрение — не на будущее, а на настоящее: она видела людей так, как они есть, а не так, как они себя выдают. И поэтому я ей казалась не успешной московской дамой, а девочкой, которая в семь лет разбила две чашечки из серванта и потом двадцать пять лет боялась разбить что-нибудь ещё.

Я читала письма до трёх ночи. Про деда, который за полгода до смерти посадил вишню и говорил, что не увидит, как зацветёт, — и увидел: зацвела в мае, а умер в июне. Про тётин завод, на котором она сорок лет проработала нормировщицей и который потом закрыли, — и она весь металл забрала себе, на черенки для лопат, и лопаты до сих пор в сарае, и на каждом черенке клеймо завода. Про маму, мою мать, —

про неё тётя писала аккуратно, с большой любовью и маленькой горечью: «Сестра моя умерла молодой, а старой быть тоже надо уметь, и этому я её, к сожалению, не научила». Про меня, в котором письме: «Верка выросла, но ещё не выросла до конца. Пусть приедет — дом её дорастит».

Дом дорастит. Вот так вот. Никакой психологии, никакого коучинга — просто дом дорастит. И, надо сказать, за первые два дня он уже принялся за работу: вырастил во мне умение ставить печку, умение слушать трубы и умение извиняться перед мешками.

Последнее письмо было датировано двумя неделями до смерти. Тётин почерк там уже был неровный — рука подводила. Она писала: «Верунь, если это письмо найдёшь — значит, я уже не могу его отдать сама, а отдать хочется. Так вот: в серванте, за самоваром, в тумбе, — ложки. Они на «Ш. А. К.», это на меня. Отдай их Лидии Павловне, она знает почему. А остальное — твоё. Не бойся дома. Дома не страшно. Дома только холодно, если не топить. А топить — это не страшно, это просто надо делать каждое утро».

Ложки Лидии Павловне. Тётя оставила мне инструкцию даже на этот счёт.

Я сложила письма обратно в сундук, накрыла накидкой и постояла. В окно стучал снег — уже не крупный, какой был при приезде, а мелкий, назойливый, как счётчик в такси. Дом за спиной поскрипывал — по-тётиному, коротко. Я вдруг поняла, что разговариваю с домом уже четвёртый день

и он мне отвечает. В Москве я со стенами не разговаривала: стены в Москве — это бетон, арматура и соседи. Здесь стены были из бревна, бревно помнило руки, руки помнили тётю, и получалась какая-то долгая цепочка, по которой — я это почувствовала совершенно отчётливо — ко мне сейчас шли команды: топить, слушаться Лидию Павловну, позвонить Лёхе в апреле и не бояться.

Я не топила. В ноль часов ночи топить было поздно — печка за день выстыла бы всё равно, а угли тревожить жалко. Я легла на диван под тётин платок и уснула, между прочим, мгновенно, как в детстве: голову на подушку — и всё. В Москве я засыпала минут двадцать — и все двадцать минут прокручивала в голове список «что я не сделала сегодня». Здесь список «что я не сделала» состоял из одной позиции: не отдала ложки Лидии Павловне. Это, согласитесь, ремонтируется.

Только я потянулась к выключателю — как за стенкой застучали.

Не в подполе — в стене. В печной. Два удара — пауза — три.

Я села. Полагаю, у меня лицо было такое, что если бы Лидия Павловна увидела, то занесла бы меня в свои «констатации» с формулировкой «нервная, но перспективная». Потому что печная стенка стучала. Ночью. По всем законам жанра за этим должно было следовать что-то страшное: голос из трубы, записка, призрак тёти с вопросом, почему чек не

подшит.

— Что случилось? — спросила я осторожно, в стену.

Стенка помолчала. Потом в ней отчётливо раздался голос Лидии Павловны — приглушённый, но такой, будто она сидела вплотную, у самого кирпича:

— Это я стучу. Через печку слышно лучше, чем в дверь. В дверь надо вставать и идти, а в печку можно говорить лежа. Что читаешь?

— Тетрадь тётины.

— Знаю я эту тетрадь. Рецепты и счёты. Она в ней сорок лет писала.

— Вы знали, что она вела счёт?

— Я знала, что она вела счёт, — сказала Лидия Павловна. — Еще знаю, что она меня вписала. Ты прочитай мне, что там про меня.

Я полистала на ощупь — свет включать не хотелось, ломался ритуал. Нашла.

— «Молоко взято у Л. П. — отдать 100 р., она забыла, я помню».

За стенкой посмеялись — тихо, одними плечами, я слышала это по тому, как стукнулась спинка кровати.

— Она забыла, а я помню, — повторила Лидия Павловна. — Вот вся она. Шура. Должна, а помнит за того, кому должна. Я ей двадцать лет об этом говорила: Шура, ты записывай долги, записывай. А она отвечала: записанные долги — это чеки. А незаписанные — это отношения. Хочешь, чтобы че-

ловек тебя помнил — не записывай.

— А вы записывали?

— Я записывала всё, — сказала она без всякого смущения. — Я в этом доме за сорок два года ни одной сотни без записи не потратила. У меня тетрадей — три. Одна про еду, одна про деньги, одна про людей. Про людей — та самая, последняя, туда я имена писала, чтобы не перепутать, кому что говорила.

— И про меня там есть?

— Про тебя там четыре записи. Первая — семьдесят шестой год: «сестрина дочка приехала, стекла бьёт». Вторая — девяносто восьмой: «Верка замуж вышла, свадьбу в Москве сыграли, Шура не поехала, плакала двое суток». Третья — двадцать первый год: «Шура сказала: дом оставлю Вере. Я возразила: зачем ей, у неё Москва. Шура сказала: пусть будет, выберет сама». И четвёртая — октябрь нынешний. Хочешь, скажу?

— Скажите.

— «Верка не приедет, я её знаю. А если приедет — значит, окончательно всё, и надо встретить как родную. Даже если ей хуже станет от моего строгого характера».

Я сидела на тётином диване, в тётином доме, в два часа ночи и слушала через печную стенку, как чужая женщина, которая знает меня лучше, чем я сама, зачитывает мою жизнь по четырём пунктам. И четвёртый пункт был выстрадан: Лидия Павловна, как я поняла гораздо позже, всю осень

готовилась меня встречать. Пироги пекла — я потом в тётиной тетради нашла их перечень: «Л. П. пекла к приезду. Четыре раза. Пробовала три рецепта». Четыре раза. Четыре захода она пекла пирог для женщины, которая, по её же собственной прикидке, не приедет.

— Лидия Павловна, — сказала я в стену, — а у меня тут от тёти ложки остались. С гравировкой «Ш. А. К.». Она написала — отдать вам. Вы знаете почему?

За стенкой стало тихо. Тихо так, что я услышала, как за окном упала с крыши сосулька — и разбилась о сугроб с глухим, окончательным звуком.

— Знаю, — сказала наконец Лидия Павловна, и голос у неё был уже не тот — не строгий, а какой-то тонкий, как тонкое стекло. — В шестьдесят восьмом, когда я тут поселилась, я у Шуры заняла на чайный сервиз. Шесть ложек и двенадцать чашек. Чашки вернула через месяц. Ложки — через неделю. Только это были не её ложки, это были ложки её матери, а я не знала — и они у меня пропали, я вместо них отдала другие, свои. Переезд был, скатерть свернула вместе с ложками и где-то оставила. Шура искала месяц. Потом сказала: ладно. И больше никогда не говорила. А потом сорок лет собирала такие же — по блошиным рынкам, по деревням, у кого спрошу. Собрала дюжину. Всю жизнь собирала, чтоб отдать мне то, что я потеряла. И не отдала — берегла к моему приезду. Вот тебе и Шура. Должна она была мне сто рублей, а я ей — дюжину серебра..

— Завтра, — сказала я наконец, — я вам их занесу.

— Завтра не заноси, — ответила Лидия Павловна. — Завтра суббота, у меня стирка. В воскресенье занеси, и мы их вместе посчитаем. Дюжина — это на счетах смотреть надо, на глазок серебро не берут.

И стукнулась ложкой о чайник — конец связи, сеанс окончен.

Я лежала потом ещё час и думала, что в Москве у меня было три мессенджера и ни одного человека, с которым можно было бы поговорить через стенку. А тут — стенка одна, и вся жизнь в ней.

Утром я всё-таки пошла в подпол.

Не потому, что стала смелой за ночь, — потому что Лёха оставил там ключ. Точнее, не ключ, а приоткрытую дверь и записку мелом на ступеньке: «Вера Геннадьевна, сюда можно, если со мной или со свечкой. Одной — после Пасхи».

Свечку я взяла. В тётином доме свечки нашлись сразу — в жестяной банке из-под кофе, рядом с семенами: хозяйка дома держала свечи там же, где семена. Логика, между нами, железная: и то и другое — на весну.

Подпол встретил меня холодом и запахом земли. Земля здесь пахла не сыростью — пахла землёй, как пахнет она в мае, когда её перекапывают. Я шла по узкому проходу, освещая себе путь, и смотрела по сторонам. Тётин подпол был не подполом — он был музеем. Вдоль стен — банки. Огурцы, помидоры, мочёные яблоки, варенья — я насчитала одинна-

дцать видов, включая такое, которое тётя подписывала «варенье из рябины, горчит, но полезно». Рядом — картошка в сетках, лук в авоськах, и всё это было подписано мелом по банкам: где что, когда закатано, на какой год. Подписано. На случай, если хозяин забудет. Тётя подписывала даже закатки — как будто боялась, что память подведёт раньше употребления содержимого банки.

И у дальней стены, на деревянном ящике, лежало то, о чём писал Лёха: инструменты. Рожковые ключи, пассатижи, кранбукса, три метра фум-ленты и свёрток в мешковине, перевязанный той же бечёвкой, что и папка. Я его не тронула — инструмент имеет право лежать там, где его положил мастер, и трогать его — это как переставлять чужие шахматы посреди партии.

А вот что меня добило — это не инструменты и не банки. Это полка у входа, на уровне руки. На ней стояла железная кружка, термос и три свечки, аккуратно, ровно, как в сервировке. Термос — и вот он, момент узнавания, — был точно такой же, как мой, тот, что я забыла на платформе. Тот же цвет, та же крышка, та же фирменная наклейка, полустёртая. Тётин. Она купила себе такой же, как у меня. Или — я потом узнала правду, но тогда я ещё этого не знала, — она купила этот термос для меня. В октябре. К приезду.

Я стояла в подполе со свечкой в руке, и капля за каплей капала надо мной труба — и это, между прочим, было единственное место в доме, где капля падала не на пол, а мне

прямо на плечо. Подпол — он как исповедь: спускаешься — и сразу что-то на тебя капает.

Я поднялась наверх. Поставила тётин термос на кухонный стол — на видное место, лицом ко мне. И подумала, что тётины письма, тётин термос, тётин коврик с надписью «для Веры» и тётины валенки сорок второго размера — это всё одна и та же вещь. Одна и та же, повторённая четырежды, чтобы я точно услышала. Она готовила мне не наследство. Она готовила мне дом.

На рассвете я услышала, как за стеной Лидия Павловна ставит чайник.

И не постучала. Не в этот раз. Просто легла и слушала — как плещется вода, как щёлкает крышка, как за стенкой начинается чей-то день. В Москве утро начиналось с уведомлений. Здесь — с чайника за стенкой.

Я поднялась, умылась горячей водой — той самой, которую Лёха ещё не починил, а значит, грелась она в печке, — и вышла на крыльцо. Снег за ночь лёг по-настоящему: сантиметров десять, ровно, как по линейке. Двор был белый, чистый, и на нём не было следов, кроме одних — тонких, кошачьих, ведущих от моей калитки к калитке Лидии Павловны. Кошка, между нами, уже отработала своё право прохода и вернулась домой — по снегу это было видно как на карте.

Я постояла, подышала. Минус восемь. В Москве при минус восьми я ждала такси, накидывала шубу и звонила начальству, чтобы перенести встречу. Здесь я просто стояла

на крыльце и думала, что мне надо: натопить, вынести мусор, занести в подпол свечки, отнести ложки в воскресенье. Несколько дел. Ни одно из них не было про деньги. Все они — про дом.

И вот тогда, стоя на крыльце в тётиных валенках — которые, как вы поняли, нашлись-таки в кладовке, в коробке с надписью «В. Г.», — я впервые за десять лет почувствовала не тревогу, а её противоположность. Точнее даже не противоположность — её отсутствие. Просто в Москве у меня внутри всегда что-то работало — фоном, как вентилятор: дедлайны, разговоры, планы, цифры. А тут вентилятор выключился. И оказалось, что тишина — это не пустота. Это просто тишина.

За стеной щёлкнула крышка чайника. Лидия Павловна наливала себе утренний стакан.

А я пошла топить печь. Каждое утро. Это не страшно. Это просто каждое утро.

Глава 3

Дом на Садовой

Глава 3. Список долгов, часть вторая

В субботу я обошла соседей.

Но сначала — о кошке. В пятницу вечером, когда я, чумазая после целого дня разбора тётиных сумок, сидела на кухне над остывшим пирогом, в дверь постучали. Не лапой — по-человечески: толкнули и постучали. Я открыла. На пороге сидела кошка — рыжая, тощая, с глазами цвета гречневой каши, — и смотрела на меня с видом существа, пришедшего проверить, на месте ли мебель.

— Ты, значит, общая, — сказала я.

Кошка вошла, не дожидаясь второго приглашения, обошла кухню по периметру — экономисты обходы по периметру уважают, — поднялась на тётин диван, поворочалась на платке и улеглась. Так, как укладываются хозяева. Потом посмотрела на меня: мол, ну?

— Слушай, — сказала я, — а ты не могла бы просто помолчать рядом? Из людей это мало кто умеет.

Кошка помолчала рядом. Часа два. Потом встала, потянулась и ушла в свою половину — к Лидии Павловне. Право прохода у неё было отработано лучше, чем у меня когда-то шенген: заходит, сидит, уходит — и ни разу не спросила, где документы.

А в субботу я взяла тётин список — «Долги мои, простить не велю, отдать велю» — и пошла по нему, как по маршрутному листу. Сначала, правда, постояла перед зеркалом в прихожей и соображала, как я вообще буду это делать. Прийти к чужому человеку и протянуть деньги — в Москве я бы за такое стыдилась. Здесь, я уже начинала понимать, стыд имел другую градацию: стыдно было не отдать. Но человек, к которому я шла, меня не помнил. Мне было восемь, когда я его в последний раз видела. Ему было пятьдесят восемь. Сейчас ему, стало быть, семьдесят два, и он, скорее всего, смотрел на меня так, как смотрят на незнакомку с конвертом, — а это уже, в любом городе, другая статья.

Начала с Зои.

Зоя — та самая справочная — жила через два двора от нас. Я это выяснила опытным путём: пошла мимо её дома, а она вышла на крыльцо в фартуке, встряхнула половичок и посмотрела на меня ровно столько, чтобы я поняла: идти мимо не получится.

— Ты к кому? — спросила она через забор.

— К вам, если можно.

— А ты чья? — она вдруг прищурилась и наклонила голову набок. — Так… погоди. Погоди. Глаза знакомые. Сестрина у тебя прищурка. Ты не… — она щёлкнула пальцами, — не Верка?

— Вера Геннадьевна.

— Верка! — она захлопала в ладоши, забыв про полови-

чок. — Шуркина Верка! Ай да я, ай да память. Ты же в косичках ходила, в белой кофте. Кофта белая, форма коричневая — я помню, я всё помню, у меня в голове картотека. Стоишь — и не признала сразу, а теперь гляжу: точно она, только выше и усталая. Заходи сейчас же, что стоишь на морозе. И половичок не топчи, я его сегодня сушила.

Я вошла по краешку. В доме у Зои пахло тем же, чем пахло у тёти, — свежим бельём, печкой и почему-то сгущёнкой. На стене висели три телефона: стационарный старый, телефон потяжелее, уже по-новее, и мобильник на шнурке. Зоя, как я поняла, держала все три на случай, если два из них одновременно откажут. Справочная женщина не имеет права быть недоступной — это не профессия, это статус.

Она усадила меня на табурет, налила чай — крепкий, тёмный, в стакане с подстаканником, настоящем, латунном, потёртом на гранях до золотистого блеска. Такой держат не для красоты — им пользуются. И на дне стакана я увидела две ложки сахара.

— Сладкое любишь? — спросила она, глядя на меня выжидающе.

— Люблю.

— Вот и славно, потому что я уже положила. — Она засмеялась и села напротив. — Извини, Верка, ты уж прости — я к тебе на «ты» сразу, по-старому. Кому на «вы», кому на «ты» — тут вот как: кто мне имена в справочную приносит по делу, те на «вы», а кто в дом заходит — те на «ты». Ты в

дом зашла. Значит, на «ты». И сахар я тебе сама положила, потому что ты в девяносто втором у Шуры в гостях пирожки таскала — я видела. Она заметила, конечно. Она всё видела. Она просто молчала, — это у неё способ любви был: смотреть и молчать.

Я чуть не поперхнулась чаем. Как она вообще всё это держит в голове — сорок лет подряд, по людям, по голосам?

— Вы всё-всё помните? — спросила я.

— А куда мне девать? — Зоя развела руками. — Профессия такая. Телефонистка — это человек, который никогда ничего не забывает, потому что забыть ему нельзя: перезвонят. Вот и сорок лет ношу. Часть забывается, а глаза — нет. Глаза мне выдали всю тебя за пять секунд. Только возраст смутил: думала, тебе лет тридцать пять. А тебе, стало быть…

— Сорок два.

— Ну вот, — сказала она тихо. — Сорок два. — И помолчала, глядя на меня так, будто в моём возрасте для неё был какой-то отдельный смысл, о котором она пока молчала. Потом спохватилась: — Так ты по какому же делу, Верка? Или так — в гости?

Я вынула тётин список и положила на стол. Зоя посмотрела на список, потом на меня. И вот тут у неё изменилось лицо — не сразу, а постепенно, как темнеет окно перед дождём.

— Это её почерк, — сказала она. — Дай сюда.

Она взяла листок, провела пальцем по строчкам — не читая, а так, как трогают старую вышивку, — и вернула.

— «Отдать велю». Это она. Это её слова, один в один: она так всегда говорила — не «верну», а «отдам, велено». Сколько мне отдать велено, Верка?

— Три тысячи.

— Три тысячи… — Зоя кивнула, будто соглашалась с приговором. — Я знаю про эти три тысячи. С четырнадцатого года знаю. Она мне сама говорила: Зоя, я тебе должна, я помню, я верну. И всё время держала меня за эту строчку — на этой строчке и жила между нами связь. Долг её не тяготил, Верка. Долг её держал.

Она встала, подошла к буфету, выдвинула нижний ящик и долго там рылась — дольше, чем требовалось для конверта. Потом повернулась. Глаза у неё были красные.

— Я ее деньги не возьму, — сказала она глухо. — Ты не обижайся. Я три тысячи в четырнадцатом дала, на билеты, она в район собиралась, — а назад она привезла не то, что обещала. Привезла врача. Врач был дорогой. И я тогда поняла, зачем ей были деньги, — а спросить не могла, потому что спросила бы — и она бы мне соврала, а я бы знала, что она врёт. Вот так она меня и берегла: от правды и от вранья сразу. — Зоя вытерла глаза фартуком, быстро, деловито. — Деньги поклади обратно в свою заначку, Верка. Пусть лежат. А вот это возьми — она это мне передала, а я по глупости не открыла тогда… — она положила передо мной жёлтый конверт, старый, потёртый по углам, и на нём тётиным почерком: «Зое. На память». — Открыла на прошлой неделе.

Сорвалась. Сорок лет держалась, а на девятые сорок дней — не выдержала. И теперь несу тебе, потому что мне одной это носить тяжело.

Я открыла. В конверте лежали три тысячи — старыми сотнями, аккуратной пачкой, той же аптечной резинкой, что и в мешке. И листок.

«Зоя, дорогая. Ты мне три тысячи дала на билеты, а я их не использовала, потому что привезла врача, а врача купить нельзя — врача можно только найти. Спасибо тебе, что ты тогда не спросила, зачем мне деньги. Если бы спросила — я бы соврала, а ты бы знала, что я вру. Так лучше. Долг закрываю тетрадкой рецептов — она у меня дома, ты знаешь, где я её держу. Если что случится — проследи, чтобы она досталась Вере. Она поймёт. Твоя Шура».

Я сидела и молчала. За стенкой у Зои кто-то ковырялся в печке — слышно было, как падают угольки, как затихает огонь, как помаленьку живёт сосед. Березовск, я вдруг поняла, живёт в звуках, и звуки эти — не музыка, не новости, а просто жизнь, которая происходит по ту сторону стенки и к которой тебя подсоединяют, даже если ты сидишь у чужого стола и не можешь поднять головы.

— Вот видишь, — сказала Зоя, когда я подняла глаза. — Про тетрадку она ещё тогда позаботилась. Мы с ней, Верка, сорок лет разговаривали — а про главное ни разу. Про главное — только так, в конвертах. Письма шлём, у нас же почта рядом была… а потом почту закрыли, и мы на спра-

вочную перешли. Телефон вместо писем. Я ей номер давала, она мне, — Зоя усмехнулась сквозь слёзы, — она мне через справочную звонила! Понимаешь? Есть у нас в городе человек, который зовёт меня по работе, — а это Шура звонит. И мы по работе о жизни говорим, а о деньгах — молчком, потому что деньги у нас были не про деньги.

— А про что?

— А про то, что я тебе сейчас не расскажу, — сказала Зоя уже спокойно, справившись с собой. — Не потому что секрет. Потому что не время. Ты ведь только приехала, Верка. Ты ещё не знаешь тут ни двора, ни людей, ни печки. Дай себе срок. Приедешь в себя — приходи, я тебе всё расскажу. Может, и покажу кое-что. У меня, между нами, фотографической памяти нет, а картотека живая: я тебе и дату назову, и месяц, и что тогда на радио играло. Так что не торопись. Я не уезжаю.

Она проводила меня до калитки и, уже когда я отошла, крикнула вдогонку:

— Верка! К Ларисе пойдёшь — не пугайся. Она после смены кислая, это норма. И не спорь с ней. К Мирону Карпычу дойдёшь — он не признает тебя сразу, он вообще никого не признаёт сразу. Ты скажи: Шуркина Верка. Он поймёт. Это, Верка, в этом городе самые главные слова: чья ты. Всё остальное приложится.

Лариса из аптеки была именно такой, как обещала Зоя: маленькая, быстрая, после смены — кислая.

Аптека была старая, в бывшем Доме пионеров. Я вошла, прозвенел колокольчик — не электронный, настоящий, латунный, подвешенный на шнурке, — и Лариса подняла на меня глаза поверх очков.

— Чем помочь? — спросила она без всякого «здравствуйте».

— Здравствуйте. Я…

— Грипп? Простуда? — она уже тянулась к полке. — Если простуда, то у нас на левом ряду, а если грипп, то я вам не помогу: грипп лечится постелью, а постель у вас дома, я надеюсь.

— Нет. Я не по лекарствам. Я, собственно… — я растерялась: как подойти к чужому человеку со списком долгов? — Вы Лариса?

— Я Лариса. Вы не мой врач и не мой юрист, значит, дело хозяйское. Говорите.

— Я Вера. Вера Геннадьевна. Соколова.

И тут она замерла. С коробками в руках, на полпути, — и смотрела на меня поверх очков так, будто пересчитывала что-то в уме, быстро, столбик за столбиком.

— Соколова… — повторила она. — Соколова. Садовая. — Она медленно поставила коробки на прилавок. — Шуры Соколовой?

— Она моя тётя.

— Тётя… — Лариса сняла очки. За очками глаза у неё были красные — и, кажется, не от усталости. — Вы Веруся. Та самая.— она вдруг отвернулась, взяла с полки вату, стала перекладывать её из одной баночки в другую, очевидно, для того, чтобы руки были заняты. — Не узнала. Простите. Вы выросли. Вы же должны быть лет…

— Сорок два.

— Сорок два, — повторила она. — А я вас помню восьмилетнюю. Вы тогда тут, в этом самом зале, — она обвела рукой бывший актовый зал, — с кружка вязания сбежали и ко мне прятались, я вас из-за прилавка кормила карамелькой, помните? «Ля-ля-ля» называлась, зелёная. Вы зелёную любили.

Я не помнила. Но глазам вдруг стало горячо, и я поняла: помнила не память, а что-то другое.

— Ты туда, значит, приехала. Наследство, — сказала Лариса, уже справившись с собой и вернув очки на нос. — Ну и слава богу. Дом простоял пустым две недели — это, между нами, предел. Дальше дом начинает тосковать, а тоскующий дом дешевле продать, чем жить в нём. — Она помолчала. — Деньги, значит, по тётиному списку принесла?

— Откуда вы…

— Логика, Верка, а не телепатия. Умирает человек — приходят за домом. Но приходят по списку долгов — это уже не за домом, это уже за порядком. Шурин порядок. — Она посмотрела на мой конверт. — Тысяча четыреста, я полагаю.

Я положила деньги на прилавок. Лариса пересчитала — дважды, по купюре, — и убрала в кассу с таким видом, будто оформляла акт передачи вещества. Потом вдруг остановилась, положила обе ладони на прилавок и наклонилась ко мне через стекло.

— Верка. Скажи-ка мне одну вещь. Белый пакет. — Она смотрела мне прямо в глаза. — «Лариса, а моё, пожалуйста, в пакет белый». Сорок лет каждую неделю. Ты не знаешь, зачем ей был белый?

— Не знаю, — я смотрела на неё и не могла отвести глаз. — Но я узнаю.

— Узнай, — сказала она тихо. — Узнай, а то я с ума сойду. Я сорок лет этими пакетами кормлю этот город, и мне казалось, что я в этом городе всё знаю. А тут — белый пакет. Сорок лет в лицо, а зачем — никто не знает. У нас пакеты белые и синие: белые — для чистого, синие — для всего остального. Она просила белый. Всегда. А умерла — и вот тебе: в её вещах я синий нашла. Синий! Сорок лет просила белый, а возила с собой синий. — Лариса развела руками, и я увидела, что руки у неё дрожат. — Я за эти две недели всех, кого могла, переспросила — никто не знает. Вот и спрашиваю теперь тебя. Ты у неё племянница. Ты, может, знаешь то, чего не знаем мы.

— Не знаю, — повторила я. — Но скажу вам первой, когда узнаю. Честно.

— Первой, — повторила Лариса, и что-то в её лице смяг-

чилось. — Хорошо. Это я запомню: первой. — Она снова надела очки, достала из-под прилавка конвертик и положила передо мной. — А это тебе. От меня, не от Шуры. За зелёную карамельку, которую ты тогда так и не съела — я её тебе в кармашек положила, а ты ушла и, наверное, не нашла. Так вот бери уже эту, свежую. Иди. И тетрадь не потеряй — я знаю, что у тебя тетрадь, Зоя по телефону всё разболтала. Тетрадь у нас тут с секретами ходит, за ней очередь стоит.

— Какая очередь?

— Вот такая, — сказала Лариса загадочно и махнула рукой в сторону окна. — В этом городе, Верка, у каждой вещи — своя очередь. Тетради, пакеты, гвозди. Всё ждёт. Иди, у тебя,наверное, еще дела есть.

Мирон Карпыч жил на другом конце Садовой — там, где она переходит в Речную и заканчивается полем. Дом у него был большой, тёмный, без побелки, с одной-единственной закопчённой печной трубой, и дым из этой трубы шёл ровно, по-стариковски, без суеты. Во дворе — поленница, крыша сарая и собака, которая не лаяла. Просто посмотрела — и отвернулась. Собаки у Мирона Карпыча, я потом узнала, были все такие: смотрели и отворачивались. В этом городе это, видимо, передаётся по наследству — не порода, а взгляд.

Я постучала. Дверь не открылась. Я постучала ещё. Из-за сарая раздалось:

— Не стучи. Здесь не так стучат.

Он вышел из-за сарая — высокий, худой, в ватнике, в кепке, с топором за поясом, как будто топор — это статья сельского устава. Лет семидесяти, лицо кирпичное, руки чёрные — от дров, от земли, от всего, чем тут работают. Посмотрел на меня — сверху вниз, спокойно, без всякого любопытства.

— Кого тебе? — спросил он.

— Я к вам по делу, если можно.

— По какому?

— По семейному, — сказала я, потому что «по деньгам» произнести не хватило духу. — Я Вера.

— Вера, — повторил он, и в голосе его не изменилось ничего. — Вера. А фамилия у тебя какая, Вера?

— Соколова.

И вот тут что-то щёлкнуло. Он не вздрогнул, не ахнул — просто поставил топор на лавку, снял кепку, вытер лоб рукавом и посмотрел на меня уже по-другому. Не так, как смотрят на незнакомку. Так, как смотрят на фотографию, которая сорок лет висела на стене, а потом её сняли, и ты отвыкла, а теперь кто-то принёс её обратно, и ты смотришь — и не можешь отвести глаз.

— Верочка, — сказал он наконец. — Верочка Соколова. Ну надо же. Ну, здравствуй. Ты не обижайся, что не признал сразу. Ты у меня в голове висела девочкой. Восьми лет. С косичками. А передо мной стоит женщина — и вроде та, и не та. Так бывает, Верочка: человек из головы выходит, а об-

ратно входит — и не совпадает. Ты заходи во двор. В дом не приглашу — у меня в доме беспорядок, у меня в доме всё по-хозяйски, а порядок выглядит иначе. Во дворе постоим — здесь честнее.

Он указал на лавку у поленницы. Лавка была сколочена из двух досок, на досках — зарубки топором, похожие на буквы, но не буквы. Я присела. Мирон Карпыч сел напротив — тяжело, со вздохом, но как человек, который сел на своё место и не намерен вставать ещё минут сорок.

— Давно ли ты приехала? — спросил он.

— В среду. В среду поезд.

— В среду… — Он кивнул. — Поезд в среду, стало быть. И на кой ляд тебе мой двор в субботу, а? Тётку хоронили — меня не было, я в то время лежал, у меня нога. Отпели без меня. Ты, значит, по долгам ходишь?

— Как вы…

— От Ларисы пахнет. Не думай — не прилавок, а человек пахнет: у неё руки пахнут деньгами, когда она пересчитывает. Ты к ней приходила. Значит, по списку. — Он помолчал. — И я, значит, в списке.

— Вы в списке.

— Ну. — Он посмотрел на поленницу. — Скажи цифру. Только как есть. У нас тут цифры не боятся.

— Двенадцать тысяч.

— Двенадцать… — он повторил так, как повторяют номер телефона умершего друга. — Двенадцать тысяч. С че-

тырнадцатого года, стало быть. — Он снова снял кепку, повертел её в руках, надел обратно. — Верочка, я тебе сейчас одну вещь скажу, а ты не пугайся. Я эти деньги ждал не потому, что ждал деньги. Я их ждал потому, что это было единственное, что у меня от неё осталось живое. Ты понимаешь? Долг — это когда тебя помнят. Должен — значит, помнят. Она мне была должна, значит, я у неё в тетрадке был. В тетрадке, Верочка! В её главной тетради! Я там, между пирогом и вареньем, стоял, живой, с цифрой напротив. И вот теперь ты принесла деньги — и я из тетрадки вычеркнулся. И это, между нами, не самая приятная штука — вычеркнуться из тетрадки человека, которого знал полжизни.

Я сидела и не знала, что сказать. В Москве после таких слов мне бы оставалось только встать и уйти — там разговоры такого калибра не выдерживают: человек либо плачет, либо говорит «да вы что», либо звонит психологу. Здесь психологов нет. Здесь есть лавка, поленница и собака, которая смотрит и отворачивается.

— Она мне в июне, в последний разговор, сказала три вещи, — продолжил Мирон Карпыч уже спокойнее, будто перезаряженную обойму ставил на место. — Первая: дом твоим не станет, пока ты его не вытопишь. Не юридически, понастоящему. Вытопишь — тогда твой. Вторая: в подполе у неё лежит то, что тебе не понравится, и ты всё равно должна это взять. Третья — и вот тут я её голос помню до сих пор, так она это сказала, тихо, как разговаривают с больны-

ми: «Мироша, если она приедет, скажи ей, что я всё ей простила. Только пусть она знает, что прощение — это не бумажка. Прощение — это когда приходят и остаются». Так и сказала. Я тебе это слово в слово пересказываю, потому что у меня с этим всё честно: я за жизнь ни разу не врал. Мне врать нельзя — в этом городе врать бесполезно, тут все всё знают. У нас тут врать не умеют, а кто не умеет врать — тот и есть честный.

— Что она мне простила? — спросила я тихо.

— А вот это уже не ко мне, Верочка. — Он покачал головой. — Это к ней. Она тебе это оставила — в записках, в людях, по кусочку. Я тебе скажу, что знаю, а чего не знаю — не знаю и выдумывать не буду. Я на чужую территорию не хожу. Я у себя в этом дворе живу сорок лет и знаю одно: чужую территорию не топчут, а ждут, пока на неё пригласят.

Мы посидели ещё минут десять — молча. Я смотрела на собаку, собака смотрела на поленницу, Мирон Карпыч смотрел на трубу, из которой шёл ровный дым. Потом он поднялся, тяжело, как встают с чужого стула, и пошёл к дому. Я подумала — всё, разговор окончен, но он остановился у двери и обернулся.

— Пирог будешь печь? — спросил он.

— Какой?

— А какой умеешь. У Шуры к субботе всегда пирог стоял — она по субботам пекла, это у неё как зарплата была: раз в месяц деньги, раз в неделю пирог. Так что пеки и носи. Это

не деньги, Верочка. Пирог у нас тут носят, как носят справки: документ, подтверждающий, что ты жива. — Он почесал затылок, и лицо у него на секунду стало растерянным, человеческим. — И вот ещё что. Ты тесто на чём затворяешь?

— На кефире. Или на простокваше — как получится.

— На простокваше у неё было. Она свою держала — Зоя ей носила, от коровы, от Маньки. Манька, между прочим, ещё жива. Двадцать два года корове — это, Верочка, рекорд, но Зоя её не сдаёт, говорит, что Манька у неё не корова, а коллега. Так что к Зое сходи, попроси молока. Она тебе не откажет. — Он снова помолчал. И добавил уже совсем тихо: — И приходи, Верочка. Не потому что надо.

Он скрылся в доме. Собака посмотрела на меня ещё раз — и отвернулась, как и положено.

Я шла домой через весь город и не знала, что думать. В голове крутились слова «простила», «остаться», «белый пакет». Все три — про одно и то же, только я пока не знала, про что именно. В Москве у меня были планы — на неделю, на месяц, на квартальный отчёт. Здесь планов не было — здесь были долги. И долги — это гораздо более честный план, потому что долги нельзя отложить на понедельник. Долги исполняются сегодня, по дороге домой, через сугробы, в валенках сорок второго размера, которые тётя купила в октябре, не спрашивая, приеду ли я вообще.

Воскресенье. Ложки

В воскресенье я занесла Лидии Павловне чайные ложки.

Несла их, как несут цветы в роддом: в переднике, завёрнутыми в полотенце, двумя руками, чтобы не уронить. Двенадцать ложек — я пересчитала утром трижды, — лежали в полотенце тяжёлой серебряной кистью, и кисть эта была холоднее, чем воздух на улице.

Лидия Павловна открыла — уже не так, как в первый раз, когда я опоздала, а по-другому: тихо, без упрёка, как открывают не гостю, а тому, кого ждали.

— Занесла, значит, — сказала она и осмотрела полотенце сверху вниз. — Ну давай. На стол, на скатерть, не на голую — серебро на голую не кладут, оно этого не любит.

Я разложила ложки ровным рядом на тётиной льняной скатерти, на Лидии Павловниной половине. Лидия Павловна взяла первую — не первую по счёту, а верхнюю, левую, — и повертела на свету. Потом сняла очки, наклонилась ближе, повертела ещё.

— Не та, — сказала она спокойно. — Это не те. Это те, которых она по базарам собирала. Смотри: вот тут, на спинке, у родной ложки была вмятина — её мать в гимназии о парту стукнула. Вмятину не подделаешь. А тут всё ровно. Значит, эти — копии.

— А родные?

— А родные вот тут.

И она открыла шкаф. В шкафу, на самой нижней полке,

под слоями полотенец и скатертей лежала скатерть. Свёрнутая, перетянутая бечёвкой, и на бечёвке — узел. Я его узнала сразу: такой же, как на тётиной папке. Тётя вязала узлы у всех своих вещей — одинаковые, с тем же нажимом.

— Она их мне занесла, — сказала Лидия Павловна тихо. — Двенадцать лет назад. Пришла с этой скатертью и сказала: «Лида, я тебе вернула ложки». И ушла. Я развернула — там ложки, все двенадцать, родные, с вмятиной. И всё. Она не спросила, узнаю ли я их. Она просто вернула — как возвращают то, что было твоё, не спрашивая, помнишь ли ты, что теряла.

— Тогда зачем она сорок лет собирала дюжину?

— А затем, — сказала Лидия Павловна, и голос у неё стал тонкий, стеклянный, — затем, что она не хотела, чтобы я узнала, что вернула мои. Она хотела, чтобы я думала, что вернула свои. Есть возврат — а есть подарок. Возврат — это когда ты должна. Подарок — это когда тебя любят. Она хотела, чтобы я жила с подарком. А я, Верка, двенадцать лет живу с этим знанием, и оно у меня, как осколок в подошве: не болит, но на каждом шагу чувствуется.

Она встала, подошла к окну — за окном шёл снег, уже мелкий, порядочный, зимний, — и минуты две стояла спиной ко мне. Потом сказала:

— Убирай ложки обратно. В скатерть, в сундук, к ней. Это её вещи. Она их мне вернула, а я их не приняла — не приняла, потому что принять означало признать: я потеряла, а

она вернула. А я не хотела признавать. Так вот, Верка, теперь я тебе скажу то, что московским не говорят. Долг — это не деньги. Деньги возвращают. Долг — носят. Сорок лет носят: в чайных ложках, в пирогах по субботам. Вот и вся бухгалтерия. Твоя тётя разбиралась в ней лучше всех нас, вместе взятых, и при этом ни одной цифры вслух не озвучила. Все цифры у неё были в тетрадке. А в голосе — только возврат.

Я сложила ложки обратно — в скатерть, в бечёвку, в сундук. Лидия Павловна стояла и смотрела, как я это делаю, — и я чувствовала, что смотрит она не на мои руки, а на то, как они это делают: бережно или небрежно, с уважением или с дрожью. Лидия Павловна смотрела не на вещи — она смотрела на жесты. Жест у неё был главный документ. Не паспорт. Не декларация. Жест.

— А теперь садись, — сказала она, когда я закончила. — И слушай, что я тебе скажу. К Мирону сегодня ходила?

— Ходила.

— И что он сказал?

— Сказал, что тётя мне все простила. И что в подполе лежит то, что мне не понравится.

Лидия Павловна усмехнулась — без веселья, как усмехаются, вспоминая старую ссору.

— Мироша. Всегда он так — всё в подпол отправляет. Мироша у нас человек, который считает, что все ответы лежат внизу. А я считаю, что все ответы лежат сверху — у него на трубе, в дыму, в том, как дым ровно идёт. У нас с ним всю

жизнь так: он — вниз, я — вверх. И ничего, жили. Спорили, но жили.

— А в подполе что?

— А в подполе у Шуры лежала не вещь. Там лежала история. Она тебе её не расскажет целиком — некому уже рассказывать. Она её оставила по людям: через Лёху, через Зою, через Ларису — по кусочку. Это у нас так делают: не рассказывают целиком, а раскладывают по людям, чтобы ты, когда всё узнаешь, знала, что у тебя тут целая команда, а не один источник. Она не хотела, чтобы ты всё от одного человека узнала. Она хотела, чтобы ты обошла всех. Она тебя, Верка, к этому обходу готовилась. Думала, ты в пятьдесят приедешь. А ты в сорок два приехала — и времени на обходы у тебя больше, чем она рассчитывала.

— А история какая?

— История про деда, — сказала Лидия Павловна просто, без предупреждения, как вырубают свет. — Про твоего деда, Верка. Про то, что он был не такой, как ты его помнишь. Ты его помнишь по фотографиям: усатый, в ватнике, добрый. А он был другой. Я его знала. Я его всю жизнь знала. И то, что добрым он у тебя на фото вышел, — это не фото виновато. Это Шура виновата: она это фото сорок лет вешала на самое видное место, чтобы все, кто приходит, думали, что дед был добрым. И никто не думал. Все в этом городе знали, каким он был. И все молчали.

За стенкой опять что-то щёлкнуло — то ли чайник, то ли

крышка, то ли чья-то жизнь. Я сидела и смотрела на Лидию Павловну, и внутри у меня поднималось что-то, чему не было имени.

— Что он делал? — спросила я.

— А вот это уже не моё. Это Шурино. Она тебе это оставила — обязательно дойдёт до тебя, я уверяю. Только не сейчас. Дойдёт, когда ты сама придёшь с этим вопросом. А это может занять годы. Она такая была: всё раскладывала по полочкам — и в банках, и в людях, и в судьбах. Не спешила. Ей время было не страшно: у неё сорок лет в запасе было. А тебе, Верка, сорок лет не надо. У тебя ровно столько, сколько ты себе отмеришь. Так что не спеши, но и не жди, что всё само. Тут в Березовске само ничего не бывает. Само бывает только в Москве.

Я вышла от неё в третьем часу дня — с пустыми руками, с полной головой, с ощущением, что меня не взломали, а разобрали по винтику, осмотрели и собирают обратно. Собирают, я чувствовала, бережно, но с поправкой: некоторые винтики не поставят на старое место. Их поставят на новое. И это было не хуже, чем было.

Субботний пирог

Вечером в воскресенье я испекла пирог.

Скажу сразу: тесто подвело. Оно было затянутое, твёрдое, не то. Кефир всё-таки не то — я в пятницу купила просто-

квашу, как велела Лидия Павловна, но простокваша из магазина и простокваша от Маньки — это, как выяснилось, два разных продукта с одним названием. Пирог получился так себе. Но я его испекла — и это было главное.

В понедельник утром я отрезала лучший кусок, завернула в чистое полотенце и отнесла Мирону Карпычу. Он вышел, взял кусок, отломил половину, отдал половину собаке — собака взяла не глядя — и прожевал свою половину молча, глядя на трубу.

— Тесто затянуто, — сказал он наконец. — Кефир был?

— Простокваша. Магазинная.

— Вот. А у Шуры на своей было — от Маньки. К Зое сходи, попроси. Скажи: Мирон Карпыч велел. Она поймёт. — Он вытер руки о ватник и вдруг посмотрел на меня без всякой кепочной строгости: — И приходи в субботу, Верочка. С пирогом. Тесто у тебя к тому времени дойдёт — не тесто даже, ты сама дойдёшь. Пироги не с первого раза выходят. Люди тоже.

Вечером я сидела на тётином диване, под тётиным платком, с тётиным пирогом на тётином столе, и за окном стемнело. Двор был белый, тихий, и на снегу не было следов, кроме кошачьих — тех самых, от калитки к калитке. В окне Лидии Павловны горел свет. У Мирона Карпыча — тоже. У Зои — тоже. И у Ларисы, в аптеке на углу Школьной, тоже горел свет, и я вдруг сообразила, что в этом городе горит очень много окон. Больше, чем надо. Больше, чем экономно. Здесь

горят не для экономии — здесь горят для того, кто идёт.

И вот, сидя под тётиным платком, я вспомнила все слова, которые мне за эти дни сказали, и сложила их, как складывают чеки: по дате, по человеку, по весу. Зоя — «мне одной это носить тяжело». Лариса — «белый пакет». Мирон Карпыч — «приходят и остаются». Лидия Павловна — «долг носят». И тётя — последняя, самая короткая строчка: «Дома не страшно. Дома только холодно, если не топить. А топить — это не страшно, это просто каждое утро».

Тётя не писала мне ни одного совета. Вся её переписка со мной состояла из одной фразы. Она не учила меня жить. Она учила меня топить. И второе оказалось важнее первого: потому что жить научиться можно только в тепле, а тепло в этом мире не берётся само. Тепло — это не эмоция. Тепло — это обязательство. Тепло — это каждое утро вставать и идти к печке, даже когда не хочется. Особенно когда не хочется.

За стенкой стукнула крышка — Лидия Павловна ставила вечерний чайник. А за окном, на белом снегу, шли тонкие кошачьи следы — от моей калитки к её, от её ко мне, туда и обратно, — и я впервые поняла, что кошка в этом городе не вещь. Кошка — это тоже долг. Долг, который надо вовремя впустить, вовремя накормить и вовремя не задать ни одного вопроса.

Я легла. Погасила свет. И, лежа в темноте, слушала, как дом дышит: скрипит по-тётиному, короткими сухими звуками, капает в подполе труба, дышит за стенкой соседка, —

и всё это вместе складывалось в свой, домашний ритм, под который мне впервые за десять лет захотелось не плакать, не думать и не планировать, а просто уснуть.

И я уснула. Быстро. Как в детстве. Голова на подушку — и всё.

А утром я пошла топить печь. Каждое утро. Это не страшно. Это просто каждое утро.